

О КУЛЬТУРНЫХ ТИПАХ МЫШЛЕНИЯ, ИХ ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Арунас Мицкявичюс

Воля свободного ветра – мутиться,
Бора зеленого – шум издавать.
Так и мне никто не может
Шуметь, мутиться запрещать.

К. Борута (К. Voruta)

Находящийся в Вильнюсе так называемый «Зеленый мост», украшенный с обеих сторон советскими скульптурами, установленными еще в шестидесятых годах XX в., к которым мы так привыкли, что в повседневности их даже не замечаем, несколько лет назад стал объектом внимания художников в рамках одной из проводимых акций. Во время акции верхние части (головы) этих чудовищно выпяченных и неизвестно о чем сегодня говорящих скульптур, одна из которых изображает советского воина-освободителя, а другая – советского рабочего, были закрыты зеркальными кубами. Глядя на эти странные существа с зеркальными головами, невольно вспоминаешь Платона, который локализовал такие человеческие достоинства, как мудрость, ум или просто мышление, не где-нибудь, а именно в голове. Интересно, что эти мыслящие головы зеркальны. Мудрому Платону зеркальные головы, то есть образ отражающего зеркального мышления, были бы совершенно не понятны, а если нам и удалось бы ему объяснить смысл этого образа, несомненно, он показался бы ему недопустимым, так как, по его глубокому убеждению, мышление реальности должно быть связано с прообразами, с воспоминанием вечных идей, то есть с забытым и вспоминаемым прошлым, в строгом соответствии с которым должно моделироваться настоящее и будущее, но никак не с отражением, в котором основной модус временности – это настоящее и с трудом моделируемое будущее. Иначе говоря, структура времени зеркального мышления встает перед нами как постоянно изменяющаяся фактическая повседневность, которую необходимо учитывать, синхронизируя с нею свои планы.

Поэтому зеркальному, отражающему мышлению чужда любя, одиножды осознанная и навсегда устоявшаяся платоновская эйдетика. Сегодня в так называемой «социологии знания» феноменологически ориентированные теоретики Петер Л. Бергер (Peter L. Berger) и Томас Лукманн (Thomas Luckmann), оппонировав мудрому Платону, утверждают, что по сути рефлексией и является собственная, постоянно меняющаяся «зеркальная реакция»

на взгляды другого. Значит, отношения с другими в ситуации очной ставки бывают очень гибкими. Можно сказать, что достаточно трудно «строго смоделировать взаимодействие в ситуации очной ставки»¹.

Возвращаясь к разбору идейного замысла вышеупомянутой акции художников, можно констатировать, что здесь явно проступает коллизия между восходящим к прошлому советским культурным наследием и неизбежно разрушающей это культурное состояние новой, отражаемой действительностью.

Кажется, что посредством изобразительного искусства была сделана попытка фиксации перехода, сдвига самого мышления из одной привычной действительности в отражаемую, то есть необычную и проблемную, иную действительность. Очевидно, что не в пространстве искусства, а в нашей обыденной жизни этот переход, трансформация мышления, многими сегодня переживается как напряжение, своеобразное потрясение. Но всего лишь констатации недостаточно. Необходимо выяснить, каковы особенности этой отражающей рефлексии. Необходимо поставить вопрос, насколько и в каких масштабах на сегодняшний день литовскому мышлению вообще свойственна «зеркальная рефлексия». Стоит обратить внимание на сами тенденции мышления, которые преобладают в нашей сегодняшней культурной ситуации; необходимо каким-то образом описать и оценить их. Именно так можно определить поставленные в этой статье задачи. Но с методологической стороны необходимо иметь в виду, что такая дескриптивность неизбежно будет генерализироваться, то есть моделироваться. Иначе говоря, описание социально-культурного взаимодействия не может обойтись без некоей типизации, которая в отличие от с трудом моделируемой ситуации очной ставки всегда более или менее анонимна. Итак, с целью ответить на поднятые мной вопросы, я типизирую важные, на мой взгляд, тенденции мышления и для облегчения их дескрипции приведу несколько архитектурных метафор: *улей, крепость, пирамида, колоннада и паутина*.

Советскую культурную жизнь можно сравнить с жизнью в колбе². Колба изолирует от внешней среды, представляет искусственную жизнь и генерирует такое же искусственное самочувствие. Социальный экспериментатор по избранному рецепту создал некое искусственное пространство, то есть колбу, и наблюдал, как в ней поведет себя «биологическое вещество». Конечно, эта экзистенция в колбе поддерживалась с помощью политической силы. В пространстве политики колба была разбита. После раскола колбы, то есть развала искусственного советского пространства, вроде бы появились все условия для формирования нового типа мышления и производного, все возможности для живого, интегрированного в реалии окружающего нас мира творчества. Но жизнь и мышление в «колбе» заменили жизнь и мышление в «улье».

Кстати, с «ульем» мышление сравнивал еще Ф. Бэкон. По его мнению, истинный ученый, исследователь, подобен не какому-нибудь жалкому муравьишке, который способен лишь собрать в одну большую кучу мелкий «хворост», то есть факты, но не в состоянии их проанализировать, а «пчеле». Прототипом истинного ученого или научного

мышления, по мнению Ф. Бэкона, является пчела и создаваемая ее мышлением сотовая ячейка, так как она не только собирает нектар, но и перерабатывает его, превращая в мед. Так что не муравей, а «пчела» является воплощением научного творчества и трудолюбия.

Но после восстановления независимости Литвы творчество в целом, жизнь и мышление в «улье» этой трудолюбивой пчелки, т. е. «окультуривателя», приобрели, как увидим, самостоятельный национальный, к тому же романтически подслащенный колорит. Подобно пчеле, которая в одно и то же время лепит ячейку и заполняет ее медом, мы, восстановив независимость, взялись чистить и обновлять старые советские соты и на их месте строить и укреплять новые. Одни идеологические памятники заменили другими, изменили названия улиц и площадей; некоторые школы стали гимназиями, а многие высшие школы, имевшие статус института, умудрились назваться университетами. Но изменилось ли мышление в этих, на первый взгляд, новых сотах? Стоит отметить, что вся эта шумная и, скорее, реновационная, нежели инновационная, работа и ее необходимость произошли вследствие первоначальной ограниченности возможностей. Прекрасно известно, что пчела конструирует соты и заполняет их извне принесенным медом лишь для того, чтобы выжить. Так же и мы, гонимые такой же необходимостью выживания, взялись конструировать новые, формальные соты, в которые непременно старались втиснуть весь, после восстановления независимости вновь открывшийся, внешний мир, превращая его в романтизмом подслащенный «мед». Например, еще совсем недавно в редакционной статье одного из ежемесячников культуры утверждалось: «Мы непредсказуемы, непознаваемы, значит, можем меняться, а вместе с тем и освежать будущее бытие народа. Неожиданности произрастают из все еще живых корней литовского язычества. Однажды оказавшись последними в Европе язычниками, даже создав государство, мы ими и останемся»³.

Я был немало удивлен тем, что с крушением советской «колбы», получением независимости, при раскрытии новых горизонтов мирового опыта все творческие интенции и поиски литовца и все сопровождающие их «неожиданности» с этих пор и во веки веков будут лишь побегами «литовского язычества». Оказывается, культурная жизнь — это дерево, которое питают метафизические корни «все еще живого литовского язычества».

Мало того, углубляясь в специфику нашего мышления, выясняем, что этим романтически подслащенным «медом» придется питаться и нашим детям. Например, бывший министр просвещения проф. З. Зинкявичус (Z. Zinkevičius) в своей книге воспоминаний *Когда я был министром* пишет, как бесконечно трудно было достигнуть намеченной цели: «Сделать школу Литвы литовской по духу, чтобы она воспитывала патриотов края, как это было до войны и что я хорошо помню, так как сам в ней учился. Тогда была создана национальная школа, которая выдержала все напасти войны и оккупации»⁴.

Вполне понятно, что после развала советского режима, когда жизнь и мышление в «колбе» утратили легитимность, следовало основательно реформировать унифицированную, пропитанную идеологичес-

ким контролем систему образования. Достоинство констатации, а вместе с тем может и неприятно удивлять лишь то, что при реорганизации идеологии и политики просвещения происходит возвращение назад. Вернусь к метафорическому сравнению. Как для пчелы весь окружающий внешний мир — это лишь нектар, который позже, в улье, перерабатывается в сладкий мед, так и для нас с достижением независимости многие вновь открывшиеся профили мира невольно стали оцениваться с позиции сладкого народного «великого сказания», то есть всеобщего упрощения. Поэтому естественно, что в «улье» мышления, пронизанного романтикой, а может, и платоническими воспоминаниями о национальной субстанциальной неизменности и оторванного от понимания процессов настоящего, все еще кажется приемлемым считать, что: «Интернационализм посягает сломить за сотни лет сложившуюся систему национальной самозащиты. Истребляет нас и массовая культура постмодерна, которая в настоящее время, кажется, выполняет последнюю, ею самую неосознанную, программу: поглощает все еще живые, самостоятельно дышащие культуры. Дренирует, замутняет, примитивизирует и, наконец, пожирает»⁵.

Здесь стоило бы спросить: кто кого сильнее «дренирует и замутняет»? То ли так называемая *культура постмодерна* со свойственными ей полицентрическими и мультикультурными тенденциями мышления, то ли наша, так называемая *литовская», халтура*, которая слишком ориентирована на прошлое, замкнутая и моноцентрично видящая мир.

Как и настоящий улей, так и интересующее нас мышление в «улье» состоит из множества мелких «ячеек», разделенных перегородками, а потому между собой не связанных и друг с другом не общающихся. Здесь не могу не упомянуть меткого замечания Арунаса Свердиоласа (Arunas Sverdiolas), что «сотовый строй обусловлен отсутствием публичного пространства, открытого дискуссионного поля, в котором формировались бы разные взгляды, выслушивались контраргументы, предлагались ответы, содействуя таким образом обсуждению заявленных проблем. Обычно обоюдного общения не происходит — не по причине несовместимости взглядов или каким-то образом проявленной неприязни, но вследствие равнодушия или даже незнания о существовании друг друга».

Но сотовое мышление «трудолюбивых пчелок» мирным выглядит лишь до тех пор, пока никто не потревожит «сладкой», то есть отстраненной от мира, монадной экзистенции. Например, достаточно было заговорить о реформе высшего образования в Литве, как тут же спокойные «ульи», то есть высшие учебные заведения, вдруг превратились в бастионы, «города-крепости».

Таким образом, мы можем фиксировать, как архитектурный тип сотового мышления дополняет и модифицирует тип мышления в «крепости». Между этими типами мышления существует преемственность, но есть и разница. Мышлению в «улье» присуща оппозиция «внутри/вне», при которой «внутреннее» формирует «внешнее», но само непонятным образом не поддается влиянию, оставаясь все *тем же*, то есть субстанционально неизменным. Это консерватизм, замкнутость в «пан-

цире внутреннего» и элементарная слепота к индивидуальной самости другого. Другой здесь воспринимается не как угроза мне, а просто как мной перерабатываемое и употребляемое сырье. В то время как мышление «крепости», хотя и сохранившее консервативность, замкнутость, теперь сопровождается риторикой сознательной борьбы с альтернативными взглядами. Мышлению «в крепости» присуща оппозиция «свой/чужой».

В этом контексте вполне целесообразно указать на образ науки, представленный в книге Т. Куна *Структура научных революций*. Здесь утверждается, что на «нормальных» этапах развития науки (т. е. нереволуционных) научные общины куда больше походят на «закрытые» общества. По воззрениям Т. Куна, добродетель «нормального» ученого состоит не столько в безграничной открытости новшествам, сколько в консервативной вере в фундаментальные общепринятые теоретические истины, игнорировании противоречащих им фактов как временных «аномалий», которые удастся преодолеть в будущем. Именно догматическая преданность «генетическим ценностям» своей дисциплины и превращает ее в «обитель веры». Значит, то, что Т. Кун назвал стадией «нормальной науки», в нашем контексте соответствует типологической стадии мышления «в городе-крепости». Но есть и существенная разница. Упомянутое Т. Куном «нормальное» мышление хоть и консервативно по своему духу, однако в меру сил пытается, исходя из своей парадигмы, интегрировать все то, что видит как чуждое и аномальное и именно поэтому требующее объяснения. В то же время в литовском контексте мышления «в крепости» все, что не вписывается в привычные, устоявшиеся клише, идентифицируется не как то, что следовало бы *интегрировать*, но как то, что требуется *изолировать*. Иначе говоря, в контексте литовского культурного мышления «в крепости» все «чужое», не соответствующее устоявшимся клише, то есть сама жизнь, идентифицируется как такая угроза, которая, с одной стороны, ради самого выживания принуждает «закрываться» от других, ограждая себя прочнейшими оборонительными конструкциями, а с другой — требует постоянной боевой готовности перед лицом воображаемого врага.

Амплитуда имиджа врага, которому требуется дать достойный отпор, в культурной жизни независимой Литвы бесконечно широка и разнообразна. Стоит отметить, что в первые годы независимости грозный враг виделся на Востоке, а в последние годы — в основном на Западе. Например, в первые годы независимости для уже упомянутого проф. З. Зинкявичюса такими врагами были космополиты в составе либо интеллектуалов, либо бывших коммунистов, которые, «не имея возможности пропагандировать большевизм», избрали более близкий им космополитизм. Таких убеждений придерживалась в то время и особая группа (существовавшая при Министерстве обороны), подготовившая *Проект воспитания в школе патриота и защитника Родины*. По замыслу авторов этого проекта, школа должна не только воспитывать национальное самосознание, учить любить Родину, но и психологически готовить к исполнению гражданского долга — службе в литов-

ской армии. Авторы этой концепции утверждали, что в школе вообще необходимо формировать сознание долга, что важнее всяких прав. Удивляет, что хороший гражданин – это, прежде всего, слепо выполняющий приказы военных и при этом забывающий про права, которые напрямую связаны со свободой и правом выбора критически мыслящего индивида. Кто не с нами – тот против нас, наш враг.

Следует признать, что в последние годы официальная государственная политика и идеология просвещения заметно изменились и, к счастью, не так безоглядно, слепо и воинственно защищают национальную идею. Но эти изоляционистские пуристические убеждения все еще живы если не в государственной, то в общественной жизни, в культуре. Например, один уважаемый языковед отмечает такую опасность: «Американисты нападают на национальную идею по всем фронтам. Их даже невозможно перечислить. И такую стратегию нападения следует признать более удачной, нежели примитивные попытки коммунистов избавиться от остатков прошлого – национальной идеи»⁶.

Во-первых, бросается в глаза воинственная риторика мыслящего по отношению к самой жизни: «нападение», «фронт», «вторжение». Далее уважаемый языковед в качестве конкретного случая нежелательной глобализации и американизации приводит пример написания иноязычных слов и названий на языке оригинала, которое «навязывают несколько журналистов, философов и языковедов». Очевидно, что такую воинственную позицию жесткой фильтрации языка подпитывает миф о древности и богатстве «литовской словесности». Не совсем понятны причины этой воинственности: то ли она исходит из наивного национального патриотизма, реанимирующего идею древней и мощной, несколькими морями омываемой Литвы, то ли из некритического и закостенелого взгляда на язык. Казалось бы, языковед должен понимать, что язык эволюционирует по своим законам, а не пытается достигнуть чьих-либо лично, пуристически ориентированных и предьявляемых ему целей «литовской словесности».

Никто не пытается отрицать необходимости соблюдения языковых норм, но цель фильтрации языка сама по себе не является благом; и если так случается, то сам язык, по своей сути, будучи инвариантным, в итоге становится замкнутым, закостенелым и неадекватным по отношению к изменчивым жизненным реалиям. Именно непостоянство жизни, ее новаторские вызовы должны подталкивать к отказу от фобий и формулировать гибкую политику языка, соответствующую жизни и процессам ее модернизации. В настоящее время возрастающее желание литуанизировать все иноязычные имена и названия – живое доказательство изоляционистской политики в языке, превращающей имена зарубежных авторов в не понятные нам.

Вызывает интерес и вместе с тем удивляет, что упомянутое изолирующее от внешних воздействий воинственное «мышление в крепости» в сегодняшней независимой Литве обладает подходящей почвой, на которой все еще процветают глубоко засевавший в сознании антисемитизм, экстремистские выпады в стиле местного ультраправого радикала Мурзы (Murgza) и тому подобные вещи. Правда, воинственность взды-

хающих об ослаблении социальных гарантий, об исчезновении настоящих ценностей (которые вытеснили западные), об отсутствии настоящего хозяина и сильного, стратегически мыслящего правительства и т. д., сильно замаскирована, сублимирована и скорее напоминает дискурс социального работника. Когда журналисты спрашиваю у Мурзы о причинах скандального поведения, он вдруг неожиданно начинает говорить, как работник социальной службы. Кажется, что в головах, мыслящих категориями этого дискурса вздыхающего социального работника, таится мысль, что источник всех его несчастий не он сам, а кто-то другой, чужой, и что по отношению к мнимой угрозе нужно быть всегда начеку, непрестанно укреплять свою «крепость», не покидать ее стен и, при случае, давать достойный отпор. Это и есть мышление «в бастионе» или «в крепости». Можно спросить себя: каково было бы наше состояние и что случилось бы с нами в мире за стенами «крепости»? Ответ не сложно найти в не столь давней дискуссии в печати по поводу вступления в Европейский союз. Одно из мнений было таким: «Мы нужны Европе хотя бы лишь для того, чтобы снять огромную нагрузку иммиграции. <...> Литва, с не особо густо населенной территорией, станет зоной, которую можно будет использовать как некую резервацию — лишь только уровень жизни немного возрастет, и сотни тысяч иммигрантов смогут здесь прекрасно жить»⁷.

Выбор и впрямь не велик: или жизнь «в крепости», или «в резервации». Но не слабость ли и несостоятельность неизбежно толкают нас, мыслящих, обосноваться и ютиться в крепости, которая была бы защитой от воображаемых, выдуманных опасностей? Иначе говоря, крепость сооружается для того, чтобы была возможность защититься не только от внешних реформаторов, но и от внутренних опасностей, то есть собственного бессилия. Это значит, что для такого мышления «в крепости» самой большой опасностью становится сама жизнь. «Защищайся и опасайся сил, которые утверждает сама жизнь» — это категориальный императив литовского мышления «в крепости», обязательный стать всеобщим принципом издания законов. Такое защищающееся от мира и сооружающее крепости мышление ограждается разнообразными баррикадами, изолируется, избегает публичной дискуссии и вообще старается оградить конструкции своего мышления от направленных на него альтернативных взглядов и оценок. «Крепость» или «город-крепость» — это символы оборонительного щита, ограждения и самоизоляции. Ограждаться, укрепляться баррикадами и цепляться за них, чтобы выжить, действительно, заставляет нас не угроза воображаемого «чужого» врага, а наше собственное бессилие. В этом смысле можно было бы согласиться с мнением, что сегодняшняя Литва, «цепляясь за деревню, цепляется за животворность, а не за какие-то урожаи и дохода не дающие гектары», и что здесь очень сильны «чувственные основы»⁸ — но согласиться, только имея в виду, что имидж литовского «земледельца» (не метафизического, а социального) с его «животворностью» бессилен, он существует изолированно от реальности. В этой странной архитектурной форме мышления — «в крепости» — не остается никаких пробелов, никакого пространства для же-

лания малейшего воображения, любой продуктивной деятельности, способствующей инновации. Создавая «крепости», мы чувствуем себя более защищенными. С другой стороны, это строительство происходит ценой нашего же отчуждения, замкнутости от мира и жизни, самоконсервации в «стенах своего ума». Вот почему мышление в крепости ведет к самоистязанию.

Здесь очевиден мягкий сдвиг от мышления «в крепости» к мышлению «в пирамиде». Ведь без конца строить крепости невозможно: неизбежно наступает усталость и «специализация», которая приводит к мумификации. Таким образом, постоянное воздвижение крепостных стен не столько помогает выжить, сколько способствует мумификации. Так «улей», «крепость» далее модифицируются, приобретая новый архитектурный облик геометрической «пирамиды». Как и в первых двух типах мышления, здесь сохраняется консервирующая тенденция, но не остается воинственности, свойственной «мышлению в крепости», а оппозиция «свой/чужой» заменяется на оппозицию «глубина/поверхность». В этом архитектурном типе мышления мы обнаруживаем, что начинает выстраиваться иерархический мир: классификация основана на абстрактных категориях и, таким образом, устанавливает легальный, рациональный, раз и навсегда установленный порядок. «Пирамидальность» символизирует схематизированный, интеллигибельный, сущностный, глубинный мир. В этом королевстве схем становится возможным то, чего никогда не удавалось бы достичь в мире непосредственных впечатлений – построить пирамиду каст и званий, создать новый мир законов, привилегий, субординаций, регулятивность и императивность которого конфронтирует с видимым миром непосредственных впечатлений. Стоит отметить, что метафора пирамиды символизирует не только интеллигибельный мир чистых сущностей, но и давно похороненную, замученную и мумифицированную индивидуальность. Короче говоря, «пирамида» – это могила до смерти замученной творческой индивидуальности. В этом контексте, во-первых, перед глазами всплывают потухшие, а, кто знает, может и погашенные, замученные лица студентов наших высших школ, ничего не спрашивающих, почему-то ничего не требующих, просто равнодушные лица. Такие лица, или такой архитектурный тип жизни и мышления «в пирамиде», с которым, увы, приходится сталкиваться, думаю, многим из нас в высшей школе, соответствует четырехугольному кварталу, напоминающему могильную яму, в которой глеет любая замученная индивидуальность, творчество. Поэтому «пирамидальное» мышление имеет связь с «колумбарием», то есть с помещением, в котором хранятся урны с прахом умерших. Мумификация предусматривает, что каждая «индивидуальность» и непосредственные переживания, впечатления стираются, превращаются в пепел, пыль. «Пирамида» – это только «величественное» надгробие могилы, в которой глеет пепел изможденной, замученной «индивидуальности» и непосредственных переживаний, т. е. жизни вообще.

Кстати, ярчайшим воплощением «пирамидального» типа мышления и мумификации является объективистский взгляд на прошлое, который пропагандируют учителя истории в средних школах:

1. Миф «великого (исторического) сказания». Это одна из основных и ярчайших черт исторического сознания учителей истории. На это убеждение (или, точнее, веру) делается особый упор при рассмотрении болезненных исторических вопросов в разных интерпретациях и оценках. <...> Иначе говоря, не столько делается попытка интерпретаций, сколько *коллекционируются* разные мнения. Так что преобладает *модифицированная репродуктивная* модель: вместо одного мнения воспроизводится несколько.

2. Естественно, что «вера в великое сказание» вынуждает строго придерживаться *иерархической дидактической модели истории*.

3. «Великое сказание» считается объективным. <...> Можно смело утверждать, что объективность для абсолютного большинства опрошенных учителей имеет значение почти регулируемой идеи, правда, засевшей в «историческом подсознании».

4. Еще одну траекторию исторического сознания чертит убеждение в исторической *стерильности*. Упомянутая неререфлексирующая идея исторической объективности вынуждает стерилизовать, очищать историю как науку, текст или сказание, чтобы она не соприкасалась с другими (родственными) науками, текстами или сказаниями, «найти» именно «исторические» причины, суть какого-либо исторического «факта», отделяя всевозможные «неисторические» (моральные, социологические и т. д.) аспекты.

5. С такой стерилизованной историей обращаются, как с музейным экспонатом, — ее *консервируют*. Историю, как процесс, а вместе с тем и сознание процесса, пытаются оградить, чтобы она не имела связи с настоящим. Иначе говоря, считается, что «объективная» история не должна интерпретироваться и переинтерпретироваться.

6. *История государств* <...> преобладает почти абсолютно и не оставляет места даже малейшему проявлению социологии истории, а нередко даже культурно-историческому обзору.⁹

Поэтому «пирамидальное» культурное мышление — это символ могилы индивидуальных переживаний, жизнеутверждающих сил, творчества и интерпретации. Категориальный императив мышления «в пирамиде» может быть сформулирован так: «Пусть мертвые оценивают живых».

Упомянутым трем типам мышления, которые в Литве занимают доминирующие позиции и приносят больше вреда, чем пользы, можно противопоставить сравнительно молодой и незрелый, но все более утверждающийся модернистский архитектурный тип мышления — «паутину». Паутина — особая структура. Во-первых, это не механическая конструкция, как, например, «город-крепость» или «пирамида», а органическая художественная структура, которой чужда окончательная, усовершенствованная, застывшая форма. Паук плетет паутину сам из себя, позднее ее съедает и, таким образом обогатившись белками, уже другую паутину сможет плести в другом месте. Так что «паутиной» структуре мышления наряду с органичностью свойствен и второй момент — мобильность и приспособленность к изменчивому динамичному миру. Такие «сети» мышления легки, мобильны, прочны и при-

способлены к неожиданностям *текущей* жизни. Разница между «паутинным» и «сотовым» типами мышления очевидна: «в сотах» пчел, то есть в структурах мышления, производится мед, то есть все *то же* знание, в то время как «паутинные» сети мышления и находящееся в нем знание все время *другие*. Как и паук, плетущий паутину из себя и за свою жизнь сплетающий не одну и не две, и каждый раз разные, в зависимости от места и времени, так и человеческое «паутинное» мышление обладает тенденцией к трансформированию, обновлению и приспособлению к новым жизненным условиям, то есть бывает каждый раз *иным*.

Кроме того, когда мы говорим о «паутинном» мышлении, следует обратить внимание и на такие пространственные категории, как «глубина/поверхность», «внутреннее/внешнее». Эти категории присущи и «сотовому», и «крепостному», и «пирамидальному» мышлению, но совершенно чужды «паутинному». Обратим внимание на такие выражения, как «глубокий ум», «глубокое изучение» и т. д. Странно, что так слепо превозносятся «глубины» за счет «поверхности», которая почему-то означает не «большой объем», а «неглубокий», в то время как «глубокий», напротив, означает «большую глубину», а не «маленький объем». И все-таки ум, мудрость, то есть само мышление, лучше измерять — если, конечно, можно измерять — «большим объемом» горизонтальной поверхности, а не «глубиной», которая указывает на узость, «малый объем». Аналогичный механизм больше ценит и превозносит «внутреннее» за счет не столь ценного «внешнего». Значит, все вещи, как бы находясь в панцире внутреннего, — замкнутые богатства, и чем больше мы будем углубляться, тем больших богатств достигнем. А если этих богатств не существует? В самом деле, мышление приобретает осязаемое содержание и непрерывно обогащается, только присовокупляя все более широкие круги вокруг точки «я». Говоря о «паутинном» мышлении, мы видим, что привычную *вертикальность* «глубины/поверхности» заменяет *горизонтальность* «широты/узости». Значит, мы имеем дело с «широким/узким» мировоззрением, или с горизонтом, который в зависимости от точки нашего взгляда изменяется, его линия может перемещаться. Таким образом, и вещи, явления видятся в различных профилях. Например, какой-либо исторический процесс в таком «горизонтальном» видении может быть познаваем нами как обладающий многими профилями. В таком мышлении и само прошлое оказывается не каким-либо исключительно одним хранилищем, а множеством разных, не только равномерно переплетающихся, но и часто находящихся в разных измерениях, разнообразных и поэтому меж собой конфликтующих памятей. В таком мышлении и будущее оказывается образом только проективных набросков, которые в каждый миг может оспорить новый опыт. «Паутинному» мышлению жизнь представляется как то, что невозможно смоделировать окончательно, ее смысловой горизонт беспрестанно пересоздается. Можно согласиться с часто высказываемым утверждением, что Литва должна влиться в мировую культуру, сохраняя вместе с тем культурное своеобразие. Но не стоит забывать, что своеобразие, или идентичность, —

это не раз и навсегда данная ценность. Оно, как и в течение жизни плетущаяся паутина, беспрестанно создается, пересоздается *здесь и сейчас*. По сути, это мышление стремится сохранить еще упомянутую Ф. Ницше вместительную метафору «играющего», то есть втянувшегося в жизнь и творчески в ней участвующего, «вечного ребенка»: «Наряду с духовным видением и силой прозорливости увеличивается даль и вместе с тем пространство вокруг человека: <...> он узревает все новые звезды, все новые загадки и образы. Может быть, все, что зрение духа, познавая, использует для воспитания «вечного ребенка», свою прозорливость и зоркость, было лишь стимулом к накоплению навыков, игрой, будто бы для детей и детских умов. Может быть, сокровенные понятия, за которые больше всего борются и страдают <...> покажутся нам когда-нибудь не более важными, чем старому человеку детские игрушки и детские страдания, и может тому же «старик» — все еще ребенку, «вечному ребенку» — опять понадобятся другие игрушки и другие страдания».

Примечания:

- ¹ Бергер А. П., Лукман Т. *Конструирование социальной действительности*. М., 1999. С. 45.
- ² Кстати, образ «жизни в колбе» можно условно сопоставить с недавно проведенным реалити-шоу в развлекательном центре *Акрополис*, где был оборудован так называемый «аквариум». Жизнь в этой искусственной среде могли наблюдать не только посетители центра *Акрополис*, но и тысячи телезрителей.
- ³ *Naįjoti Rotiwa*. № 1. 2000. С. 3.
- ⁴ Зинкявичус З. *Когда я был министром*. Каунас, 1998. С. 55–56.
- ⁵ *Naįjoti Rotiwa*. № 1. 2000. С. 3.
- ⁶ Пирочкин А. *Культура и язык* // *Gimtasis žodis*, 2002. № 6. С. 3.
- ⁷ Из высказываний А. Юозайтиса (А. Juozaitis) в дискуссии *Какая Литва хорошо себя чувствовала бы в ЕС* // *Kultūros barai*, 2001. № 10. С. 12–13.
- ⁸ Там же. С. 14.
- ⁹ *Социальные изменения: 1990–1998*. Вильнюс, 2000. С. 136–137.